



А. Е. ПРЕСНЯКОВ

В. О. Ключевский (1911–1921)

Десять лет прошло со времени кончины В. О. Ключевского (ум. 12 мая 1911 г.). Это десятилетие, насыщенное глубокими и сложными общественными переживаниями, отодвинуло много идеологических элементов нашей общественности, интересов и отношений в область изжитого прошлого; образами прошлого стали и типы, недавно столь современные.

Про Ключевского так не скажешь. Он живой, современный писатель; читают его и перечитывают, по трудам его учатся и над ними размышляют не только люди старших поколений, вполне сложившиеся в его время, но и нынешняя молодежь; и, по-видимому, томики сочинений Ключевского еще долго будут жить в составе текущей «чтомой» литературы. Если верно, что «изучать» по настоящему можно только то, что более или менее отдалено от нас в законченной перспективе, то изучать Ключевского, пожалуй, еще преждевременно. Однако тотчас после его кончины стала слагаться пока небольшая, но весьма ценная литература о нем, которая дает наряду с воспоминаниями и чертами личной характеристики попытки определить то новое, что внес Ключевский в наши исторические воззрения, и те влияния, под которыми слагались приемы и схемы его научного мышления, а также уловить особенности его крайне своеобразного восприятия жизни, прошлой и настоящей, его подхода к людям и к общественным явлениям. Изучение Ключевского задача весьма сложная. Она выходит далеко за пределы каких-либо историографических проблем. Если Ключевский прежде всего историк, то на очереди, казалось бы, задача подвести итог завещанному им вкладу в приобретения исторической науки. Но Ключевский не исследователь отдельных явлений. Его монографические этюды всегда связаны с глубокими и сложными

проблемами исторической жизни, носят характер экскурсов, подготовляющих или развивающих широкое общее построение. Это только отрывки большой и непрерывной общей работы над русской исторической жизнью в ее целом. А в общей концепции этой жизни Ключевский примкнул, по крайней мере формально, к установившейся в русской историографии традиции, творчески ее перерабатывая, но с нею не порывая. «Соловьев и Ключевский», «Ключевский и Чичерин» — таковы темы, которые естественно выступили на очередь при первых же попытках разобраться в его научно-литературном наследии; к ним Н. Г. Любомиров¹ добавил, на основании тщательного изучения по студенческим записям первых редакций, университетского курса Ключевского, указания на его связь с Забелиным и Щаповым. Но если отчасти, и даже в значительной мере, верно, что Ключевский явился и в «Боярской думе» и в «Курсе русской истории» — «как бы вторым творцом научных теорий, высказанных до него», то все-таки как ни характерна для Ключевского его зависимость от историографической традиции, не в этом, конечно, ценное существо «нашего» Ключевского — насквозь оригинального, яркого, своеобразного. Самая зависимость эта, особенно от Соловьева, обусловлена, видимо, тем, что натуре Ключевского, по существу, схематические конструкции были весьма чужды. В одной из интереснейших своих памяток о Ключевском М. М. Богословский отмечает «сильное и тонкое, но всегда конкретное мышление» как характерную особенность своего учителя и добавляет, что «отвлеченная работа мысли была ему чужда, он обладал слишком сильным воображением, он был слишком художник для абстракций, самый его язык был слишком образным для передачи отвлеченных понятий». Но «схема» была нужна, «схематизация» была необходима для общего университетского курса, а «Курс русской истории» оказался в центре всей работы Ключевского, его влияния и значения. Ключевский мастерски овладел ее техникой, но она никогда не лежала в основе его исканий и его научного творчества, как, например, у Соловьева, а скорее связывала его и стесняла как неизбежный прием изложения.

Поэтому попытка отвлечь от этого изложения общую концепцию или общую теорию исторического процесса, в частности местного, русского, реконструировать «систему» исторических воззрений Ключевского было бы задачей мало благодарной и едва ли правильной: сам Ключевский такой «системы» не строил, а лишь в меру педагогической необходимости высказывал ряд общих соображений во введении к курсу или попутно, в иных его частях. Ключевский

слишком сложен, чтобы подходить к нему с обычными шаблонами обзоров «русской историографии» ради простого учета результатов его специальной ученой работы и общих исторических построений. Можно, конечно, сказать, что в этой специально-ученой области его значение весьма велико, что его труды, особенно «Боярская дума» и «Курс русской истории», занимают свое определенное место в развитии русской исторической литературы. Можно полнее раскрыть содержание такого общего суждения перечнем вопросов, которым Ключевский дал новую постановку и свое решение, возбудив в то же время усиленную работу над ними, чем мощно двинул вперед к новым успехам наше историческое знание. Можно, в итоге рассмотрения научного наследия Ключевского, обосновать вывод, что труды его, как всякое исключительно крупное историческое явление, составляют рубеж двух эпох в своей области, завершая целый период русской историографии, так как в них исчерпана соловьевская традиция, а тем самым освобождена русская историческая мысль для более свободной и широкой работы вне связанности ее преданием, которое стало шаблоном. Но все это не исчерпает представления о подлинном значении Ключевского и об особенностях его творчества. Крупным историческим явлением были не только его труды; под это понятие подходит и сам он в своей богатой и сложной индивидуальности. Про ученую работу, большую, напряженную и значительную, часто говорят, как про «подвиг». Вчитываясь в труды Ключевского, особенно в его «Курс», живо чувствуешь своеобразное подвижничество неустанной борьбы яркого жизненного и конкретного восприятия и творческого, эмоционально насыщенного воображения с неизбежными веригами схематизации и точных, чеканных формулировок. Ключевского часто называют великим мастером в построении исторических схем и четких определений. Но нелегко они ему давались. Напряженность сказывается в самой словесной их оболочке: подбор слов и их сочетание искусственны, часто вычурны и производят такое впечатление, точно только прикрывают мнимо-логичной формулой зажатый в них яркий бытовой образ или целую бытовую картину. Богатый любовной начитанностью в документальных и литературных источниках, сильный проникновенным восприятием былых отношений, настроений, типов, бытовой обстановки, Ключевский в построении примыкал к схемам и формулам Соловьева, отчасти и Чичерина, вкладывая в них обычно совершенно иное и новое содержание. Он любил смиренно подчеркивать перед аудиторией свою зависимость от Соловьева; отсылал слушателей к «Истории России»

Соловьева словами: «Там вы найдете те же взгляды; я передаю вам то, что получил от Соловьева; я — ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». И не раз заявлял он (так сообщает М. М. Богословский), что его лекции должны служить только дополнением к учебнику Соловьева, который содержит изложение основных сведений по русской истории. Поэтому он считал возможным подробнее останавливаться на некоторых исторических моментах и явлениях, касаясь других только мимоходом, а за пополнением отсылать либо к учебнику Соловьева, либо к его большому труду. Это внешнее условие развития «Курса» Ключевского существенно для понимания, как он постепенно сложился: «Курс, читанный Ключевским, — замечает М. М. Богословский, — представлял собой ряд отдельных законченных исследований, из которых создавалась, однако, стройная общая схема». Такая схема слагалась постепенно по мере чтения «общего курса», путем переработки остова, данного Соловьевым, под давлением нового и нового изучения Ключевским отдельных исторических явлений.

Все ярче и глубже сказывалось различие в самом восприятии прошлого у Соловьева и Ключевского. Ведь не будет преувеличением сказать, что трудно найти более противоположные натуры, уклады мировоззрения, темперамента и дарования, чем Соловьев и Ключевский. По-видимому, это различие характеров и связало их крепкой связью: они как бы дополняли друг друга. Соловьев, «возвышенно настроенный (вспомним, что Ключевский отмечает «морализм» как характерную черту Соловьева), любил отдыхать от этого напряжения нравственного сознания в проникнутых юмором и сарказмом рассказах своего ученика». А ученик, впечатлительный ко всему конкретному и яркому в изучаемой им старине, бравший ее, прежде всего, с образной, художественной стороны, поддавался обаянию неуклонно-логичной мысли учителя, схематизирующей свое содержание в строгих и стройных формулах. Но в глубине своих переживаний и интересов Ключевский, несомненно, подошел к своим научным заданиям с решительно иными запросами, чем те, какие ставила традиция Соловьева. В начале труда о «Боярской думе», на тех его страницах, которые не вошли в отдельное издание, а погребены (к сожалению) в журнале «Русская мысль» за 1880 год, Ключевский как бы порывает с этой традицией. «В истории наших древних учреждений, читаем тут, остаются в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались и через них действовали»; рассмотрена прежней литературой только «лицевая сторона»

старого государственного здания, но остается еще изучить «социальный материал», из которого оно построено: «Тогда, быть может, и процесс образования нашего государственного порядка и значение его правительственных учреждений предстанут перед нами несколько в ином виде, чем как представляются теперь». В наследии историко-юридической школы Соловьева и Чичерина Ключевский видит «диалектическую схему», которая выражает лишь «смену начал, развитие идеи государства, точнее, идеи государственной власти, а не самого государственного порядка». Эти строки должны были произвести впечатление выступления в русской историографии нового исторического мировоззрения, которое идет на смену старому, соловьевскому. По существу оно так и было. Ключевский подходил к русскому прошлому с иным настроением, с иными исканиями, с потребностью в принципиально ином общем построении исторического процесса, чем его учителя, корифеи «юридической» школы. Соловьев был историком русской государственности. Подойдя к изучению русского исторического процесса с готовой схемой постепенного перехода родового быта в быт государственный, он, на деле, применил теорию родового быта не как социологическую схему, объясняющую строй народной жизни, а как исходную точку развития древнерусских политических форм, организующих народную жизнь воздействием на нее «правительственного начала». «Родовой быт» у Соловьева — первичная форма отношений в кругу владетельного княжеского рода. Процесс разложения родового быта и его перехода в отношения государственные, как изображал его Соловьев, совершался собственно в правящей среде; стадии этого процесса — моменты в развитии русской государственности. Поэтому смена систем династических отношений и династического права получила в построениях Соловьева значение важнейшей стороны русской исторической жизни, потому что так выясняется история власти, которая руководит и внешними, и внутренними судьбами страны, строит государство и организует общественные классы. В представлении автора «Истории России с древнейших времен» эту историю творит правительственная сила, создает самый народ русский из косного этнографического материала.

Историки, поучал Соловьев, «должны изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни», и пояснял, что «подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохранят

навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов».

Все это весьма далеко от основных воззрений и настроений Ключевского, который в «Боярской думе» дал историю не столько учреждения, сколько боярского класса, а в «Курсе» вносит столько иронии и сарказма в характеристику и оценку правящих лиц и правительственных кругов. И тем не менее едва ли Ключевский намеренно преувеличивал свою зависимость от Соловьева. Он ощущал ее, по-видимому, столь же крепко, как признавал на словах. Можно, кажется, сказать при этом, что она была ему не легка. Пересказ, в статье «С. М. Соловьев»², исторического построения учителя, изложение того ряда его мыслей, большая часть которых, по признанию Ключевского, «стала теперь достоянием нашего общественного сознания», звучит сдержанным, невысказанным, но сильным протестом, который сказывается в самой утрировке соловьевских формул.

Крайне сложно, внутренне-противоречиво все отношение Ключевского к столь ценимому им наследию Соловьева. В своих монографических исследованиях он идет иными, новыми путями. В отношении к «правительственному элементу», к его роли в русской жизни — он антипод Соловьеву. Даже принятые им построения и обобщения Соловьева получают столь иное содержание, что в корень перерождаются в самых основах своего смысла и значения. Так, прежде всего, Ключевский метко уловил ту особенность «теории родового быта», что она у Соловьева применима только к междукняжеским отношениям, и признал поэтому «родовые отношения» следствием «своеобразного положения династии», чертой «своеобразного политического порядка», который он и определил как «очередной порядок княжеского владения», чуждый строю народного быта. Как в этом случае, так и в ряде других, Ключевский работает по своему над построениями Соловьева, в корень их преобразуя и вкладывая в них свое, новое содержание. И тем не менее это содержание вкладывается им в соловьевские схемы, приспособляется к ним, хотя и тесно вину новому в мехах старых. И вся общая соловьевская схема распадается в переработке Ключевского на части, теряет свою стройную законченность и внутреннюю связность. А все таки она еще держится, определяя и связывая его собственные построения и все его изложение. Ряд ее элементов, и притом основных, сохранен и лишь частично переработан: порядок княжеского владения в Древней Руси, понятие удела как собственности, представление о колонизации верхневолжской Руси как основе нового

политического порядка, соби́рание земли под властью Москвы частнопровыми приемами прикупа и иных промыслов — все это элементы соловьевского наследия, обусловленные предпосылками и приемами его общей историко-юридической концепции русского исторического процесса. Они преобразены у Ключевского в ярких картинах быта и конкретных характеристиках главных моментов русской исторической, жизни, но не переработаны до конца с той полной свободой личного отношения к первоисточнику, которая так дорога в его монографических этюдах.

Ключевский и сам пристально и вдумчиво анализировал силу влияния Соловьева на дальнейшую русскую историографию, в которой был признанным его преемником. Необычайно содержательно и метко указывал он на то, что дело не только в соловьевских схемах и формулах. Эта сила Соловьева в том, что он «первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII века» и «вынес на свет наличность уцелевших фактов нашей истории», поэтому, так заключал Ключевский, «даже при успешном ходе исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первоисточникам». И действительно, «История России» Соловьева служила, в частности для «Курса» самого Ключевского, богатым источником готовых фактических данных, хотя бы материал этот был у него иначе использован, истолкован и освещен по своему. Переживая на себе эту сторону влияния Соловьева, Ключевский отчетливо сознавал все ее методологическое значение. Историческое мышление Соловьева, цельное и мощное, определенно подчиняло себе при пользовании данными, им собранными, не только восприятие и анализ содержания источников, но и построение и комбинирование извлеченных из них сведений в самом фактическом изложении; так, влияние Соловьева не давало полной свободы в чтении текстов, в подборе данных, в построении «фактов» из данных первоисточника. Ключевский глубоко понимал это, поясняя, что «факт» не есть в историческом труде нечто объективное и безличное: «Исторические факты, — писал он в одной из своих монографий, — по существу своему выводы, обобщения определенных явлений, сходных по характеру; они — то же, что понятия в логической сфере; подобно последним они могут различаться по своей широте, по количеству обобщенного в них материала,

но, подобно последним же, они всегда должны сохранять логическое соответствие своему материалу». Поэтому вполне самостоятельное и свободное научное творчество исследователя требует непосредственной работы над источниками, вне преломления их данных через призму чужого исторического воззрения. «Курс русской истории» В. О. Ключевского и сложился постепенно в борьбе его личного творчества с идейным, методологическим и фактическим влиянием Соловьева. Глубоко ценя наследие Соловьева, Ключевский, однако, переживал эту борьбу за проявление своей богатой творческой индивидуальности весьма напряженно. Близкие ему ученики сообщают, что Ключевский, по крайней мере в течение известного периода, относился к необходимости читать общий курс русской истории с значительной долей страдания». Долго и упорно отказывался он от предложений сделать этот курс достоянием печати. «Мой общий курс, — пояснял он в кругу близких людей, — сделка между моей ученой совестью и сознанием обязанностей педагога»; он находил материал русской истории еще недостаточно разработанным для широких общих построений и фактическую, самостоятельную обоснованность всех отдельных утверждений недостаточно полной для публикаций «Курса». По-видимому, самое согласие Ключевского, под конец его жизни, напечатать этот «Курс» вызвано было в значительной мере широким распространением произвольных литографированных изданий, к которым он относился с такой нервной нетерпимостью.

Научно-литературное творчество В. О. Ключевского станет со временем, надо полагать, предметом монографического изучения. Такое изучение выяснит, между прочим, особое значение, какое имело во внутренней драме этого творчества указанное самим Ключевским сложное противоречие между «ученой совестью» и «обязанностями педагога». Недаром Ключевский ответил в 1896 году на приветствия в Духовной академии по случаю двадцатипятилетия своей профессуры «одушевленной речью о призвании профессора и служении научной истине». Познать минувшую жизнь, какой она была, понять ее в ее духе и истине, подслушать ее биение в мыслях и настроениях людей прошлых времен, представить ее определенно и ясно, конкретно и образно по ее отражениям в текстах письменности и в формах материальной культуры, связать и осмыслить это углубленное изучение анализом общественных и политических отношений и синтетическим представлением о социальном строе и политической организации страны в изучаемую эпоху — словом, восстановить возможно

цельную и научно-правдивую картину этой минувшей жизни было основным заданием Ключевского в его служении «научной истине». Его представление о ходе русской исторической жизни слагалось из ряда таких характеристик отдельных исторических моментов или периодов, изученных, по возможности, каждый в законченном исследовании. А в состав «общего курса» эти составные части входили как элементы схемы, заимствованной у Соловьева и постепенно претворяемой в новой форме. Так строилось в неустанной работе мысли и изучения здание «русской истории Ключевского, здание, которое осталось, по существу и по собственному сознанию строителя, недостроенным. Иначе и не могло быть. Как бы ни были велики силы отдельного ученого, состояние науки русской истории таково, что пройти все основное ее содержание «законченными исследованиями» превышает возможности одной человеческой жизни.

Личные особенности многогранного дарования манили Ключевского к проникновенным и широким обобщениям, но не отвлеченным, а насыщенным конкретностью, непосредственным трепетом минувшей жизни. Интимно понятными должны были быть для него такие суждения, как отзыв А. А. Иванова³, что «художнику нужны материалы, как они существуют», и поэтому у Карамзина «все, что сзади текста, в конце книги, то лучше самой книги», в которой «прекрасным русским слогом, очень вежливо и учтиво, выглажены все остроты, оригинальности и резкости»; или афоризм Пушкина, записанный Смирновой⁴: «Историческая правда есть настоящая иллюзия, заключающаяся в самой жизни». Общение с памятниками прошлого было любимым занятием Ключевского, и был он необычайно чуток к «оригинальностям» подлинных текстов. Отдаваясь этому чутью подлинной жизни, отразившейся в исторических документах, он любил с их помощью раскапывать жизненный «мусор», как иногда выражался про бытовые детали, так как в них порою лучше вскрываются подлинные черты минувшей жизни. Прирожденную наблюдательность свою Ключевский развил до редкого умения уловлять в источниках мельчайшие черты исторически ценных намеков и указаний, работая над такими материалами, как сказания иностранцев о Московском государстве⁵ и древнерусские жития святых. Особенно эта последняя работа, создавшая магистерскую диссертацию Ключевского («Древнерусские жития святых как исторический источник», 1871), имела большое значение в научно-литературном творчестве Ключевского. Изучение обширного рукописного материала житийных текстов не оправдало первоначальных надежд исследователя. Он не нашел тут ни тех

обильных данных для истории колонизации, на какие рассчитывал, ни вообще значительного богатства фактических сведений. Кропотливая работа скорее филолога-археографа, чем историка, над критическим разбором рукописного сырья списков и редакций стала тяготить своим формальным и часто мелочным характером. Утомление, почти досада звучат иногда между строк изложения ее результатов; «с тяжелым чувством вспоминал он впоследствии годы, проведенные за изучением житий древнерусских святых, говаривал даже подчас, что результаты не были соразмерны потраченным на них усилиям», сообщает М. К. Любавский. Однако результаты этого труда оказались весьма значительными в других отношениях. Ключевский создал книгу, ценную, прежде всего (кроме ее осведомительного, так сказать, справочного характера), как исследование историко-литературное. Ключевский разносторонне и тонко обследовал тот вид литературного творчества, какой представляет житийная письменность, установил основные вехи истории литературной формы жития, выяснил ее свойства и технику. Как историк, ожидавший найти в житиях существенный источник исторических сведений, он тяготился, во время работы, тою особенностью своего материала, что «трудно, говоря его же словами, найти другой род литературных произведений, в котором форма в большей степени господствовала бы над содержанием, подчиняя последнее своим твердым неизменным правилам». Но самый подход к житийной письменности как к материалу историко-литературному, с полной свободой от казенно-церковного взгляда на них, был делом весьма существенным, и С. И. Смирнов, посвятивший этому труду Ключевского особый этап⁶, справедливо подчеркивает, что «книга о древнерусских житиях соответствовала как раз тому критическому направлению в церковной истории, которое было создано А. В. Горским и которое составляет бесспорную заслугу Московской духовной академии». И самому Ключевскому, помимо всяких его разочарований, работа над житиями была тем дорога, что глубоко вводила в разумение идейных настроений и книжного творчества, а также многих бытовых особенностей старой Руси, столь ему интересных и близких как выходцу из духовной среды и любителю русской бытовой старины. «В житиях жизнь, — говаривал он позднее, — которой вы не найдете в актах», и много черточек этой жизни, уловленной в житийных текстах, нашло свое отражение в разных местах его «Курса» и других трудов. Можно сказать, что начитанность в этих текстах немало обогатила палитру историка-художника, а их изучение дало ему повод определить

свое отношение к памятникам художественной литературы как к историческим источникам своеобразной ценности, отношение, столь характерное для позднейших статей и речей Ключевского о литературных и общественных типах различных эпох. Тонкая и меткая характеристика житийной литературы в 34-й лекции «Курса» существенно оживляет и освежает сказанное с ней в заключительной главе магистерской диссертации и составлена в иных тонах.

Столь же живо и чутко подходит Ключевский к изучению актового материала. Изучение деловых документов вводит его «в бурливый поток гражданских интересов и отношений», ставит лицом к лицу с суровым механизмом гражданского общежития, который двигают «жестokie железные рычаги: черствый эгоизм, слепой инстинкт, суровый закон, обуздывающий порывы того и другого»; но иногда среди стукотни этого механизма вдруг послышится наблюдателю звук совсем иного порядка, запавший в житейскую разноголосицу откуда-то сверху, точно звон колокола, раздавшийся среди рыночной суматохи: в ветхом и пыльном свитке самого сухого содержания, в купчей, закладной, заемной, меновой или духовной, под юридической формальностью иногда зазвучит нравственный мотив, из-под хозяйственной мелочи блеснет искра религиозного чувства», и Ключевский ловит эти случайные намеки, как драгоценные следы духовной жизни изученной эпохи.

Собирая отовсюду, по мере разраставшейся все шире и шире работы над первоисточниками, такие разрозненные и разнообразные впечатления и наблюдения, Ключевский чутко и вдумчиво впитывал их в свое представление о былой жизни и претворял их творческим воображением в возможно цельную ее картину. На широком и сложном основании постоянного изучения и собирания данных строились его выводы и заключения, но, по-видимому, глубокие и характерные особенности его синтетического дарования делали для него ненужным и даже тягостным расчленение этих оснований на ряд аналитических моментов; анализ тонкий и точный служил первоначальным подходом к изучению поставленного вопроса, но не должен был связывать в дальнейшем изложении обобщающих выводов. По-видимому, так можно объяснить одну особенность работ Ключевского. Только в книге о «Древнерусских житиях» он делится с читателем своими материалами и знакомит его с ходом своей аналитической и критической работы. Обычно же ссылки и весь «критический аппарат» остаются в письменном столе Ключевского и в его памяти, а читатель получает блестящее

изложение результатов исследования. Поэтому так трудно установить документальный материал, на котором построено то или иное изложение Ключевского, — обстоятельство, которое вызвало, однажды, у М. А. Дьяконова⁷ досадливое замечание, что обширный архивный материал, использованный Ключевским для исследований по истории крестьянского прикрепления, «оказывается по прежнему почти недоступным новой переработке и остается вне научного оборота, так как Ключевский его использовал, но не поделился им со своими читателями». Источник, текст которого подлежит критическому анализу — разложению, чтобы вырвать у него искомые данные, представляется иногда Ключевскому «преградой, стоящей между историком и историческим фактом», преградой, которую надо преодолеть для достижения прямых, непосредственных и живых впечатлений отразившейся в нем действительности; отработанный, он только тяготит, как механический привесок доказательства или оправдательного документа к живому историческому изложению.

А воскрешение минувшей жизни в своем научно-дисциплинированном, но ярком воображении и ее воспроизведение в историческом изложении неизменное стремление историка Ключевского. Притом его отношение к этой общей задаче изучения и творчества глубоко личное, слишком интимное, чтобы назвать его сухим словом «объективно-научное». Оно для этого слишком проникнуто глубоким раздумьем над проблемами человеческой жизни — индивидуальной и общественной, особой ищущей мудростью, которая в научном изучении творит свое разумение этой жизни. У П. Н. Милюкова есть замечание про русских историков XVIII века, что их особенность в живом сознании органической связи между изучаемым прошлым и современной действительностью и что в их трудах поэтому много чутья реальности, биение настоящей жизни, надолго изгнанной из сферы изучения их преемниками, которые заменили его школьным пониманием истории. Ключевский (так и Милюков оценивает его дело) вновь водворил в русской историографии эту жизнь как необходимый и единственно возможный предмет научного анализа. Сильно у него и сознание связи прошлого, веками пережитого с настоящим, современным. «Важнейшие умственные и общественные движения, — писал он, — которые переживали мы в разные времена своей истории, важнейшие интересы, волновавшие наших близких и далеких предков, не успели скрыться и замереть под новой, наносимой новыми движениями и интересами, а живут и действуют поныне воочию наблюдателя и могут быть изучаемы не по одним

мертвым памятниками, но и по их живым остаткам, уцелевшим в разных углах нашего отечества». Поэтому изучить в разрезе все слои русского общества — значит пройти не один век русской жизни. И Ключевский призывает не сосредоточиваться исключительно на «верхах развития», а «спускаться вниманием в другие слои его», тем более что «эти другие слои представляют не бесплодные окаменелости, а свежую почву, на которой можно сеять и жать», в них исторические отложения, еще полные живой и сочной силы; «историческая почва, по которой мы ходим», не предмет археологических только раскопок, а живая действительность, связанная с вековым прошлым, которое в ней еще действенно и плодотворно.

«Отжитая жизнь лежит перед историком как сложный ряд слоев, скрывающихся один под другим. Историография начинает свое изучение с верхнего и постепенно углубляется внутрь. Умственная жизнь — один из наиболее сокровенных, глубоко лежащих слоев, и наша русско-историческая литература едва коснулась его, занятая ближе лежащими сферами, например, политическим или юридическим развитием Руси». Такие рассуждения Ключевского в статьях ранних, конца шестидесятых и начала семидесятых годов, выясняют еще одно отличие тех запросов, с какими он подходил к изучению истории, от руководящих точек зрения историко-юридической школы. Остро ощущал он недостаточную связь соловьевской схемы, следившей за сменой форм политической организации страны, с процессами, совершавшимися «в сокровенных глубинах народной жизни», с историей культуры, в частности духовной. В ее изучении задачи историка — сложнее. «Здесь недостаточно установить, — писал Ключевский, — случайную наружную связь в сложной игре общественных и международных интересов, под которой так часто скрывается недостаток внутреннего прагматизма; еще менее можно ограничиться здесь художественным воссозданием образов минувшего, созерцание которых иногда усыпляет мысль, ищущую внутреннего смысла событий» и заключал: «Ибо в интеллектуальной истории нет действий и характеров, а есть идеи и их внутренняя историческая преемственность в народном сознании». Так подходил Ключевский к проблеме исторического процесса, т. е. «внутренней исторической преемственности в течении народной жизни»; подходил путем конкретных исторических наблюдений, так сказать — ощупью, в размышлении над связью изучаемых явлений. Слишком художник для абстракций (как выразился о Ключевском М. М. Богословский), он «обходился —

в смысле теоретических предпосылок к своим научным разысканиям и построениям — общими соображениями вроде тех, какие находим во введении к “Курсу русской истории”, — довольно бледными отголосками пережитых в молодые годы влияний идеалистической философии сороковых годов в сочетании с отзвуками Соловьевского “морализма”. Тут особенно характерно признание «идей» — глубочайшим историческим фактором «умственного труда и нравственного подвига» — самыми мощными двигателями человеческого развития. И не будет преувеличением сказать, что изучение явлений интеллектуальной и нравственной жизни общества составляло для Ключевского любимую и, в его сознании, основную задачу историка русского прошлого.

Он дал нам в этой области лишь несколько блестящих этюдов, глубоко интересных по методу и весьма субъективных по настроению, не исследований и не ученых конструкций, а вызванных обычно тем или иным внешним поводом речей и эскизов, в которых поделился некоторыми итогами своих изучений по истории русской духовной культуры («Добрые люди древней Руси», «Значение препод. Сергия для русского народа и государства», «Западное влияние и церковный раскол в России XVII в.», «Два воспитания», «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени»), иногда в форме исторического комментария к произведениям художественной литературы («Недоросль Фонвизина», «Речь в день открытия памятника Пушкину», «Евгений Онегин и его предки», «Грусть — памяти М. Ю. Лермонтова»⁸). В них только отрывки мысли Ключевского, стремившейся к познанию судеб русской духовной культуры, в изучении которой он видел преимущественно, согласно вскормившей его идеалистической традиции, «наше историческое самопознание». Но он рано, еще на заре своей научной деятельности пришел к выводу, что «работа еще далеко не дошла до того момента, когда становится возможным цельное и строгое прагматическое изложение нашей умственной истории». Поэтому, и только поэтому, полагает Ключевский, приходится положить в основу общего курса изложение «фактов политических и экономических с их разнообразными следствиями и способами проявления». Эти «факты политические и экономические, — пояснял он, — полагаю в основу курса по их значению не в историческом процессе, а только в историческом изучении». Значение этого приема чисто методологическое: «Порядок изучения не совпадает с порядком жизни, идет от следствий к причинам, от явлений к силам». Взаимоотношение духовной культуры, мира идей, и культуры общественной, мира

социально-политических отношений, представлялось Ключевскому, в духе идеалистической традиции, как взаимоотношение причинного ряда к ряду следствий, сил к явлениям. Методологический и историко-социологический принцип, согласно которому «не бытие определяется сознанием, а сознание бытием» остался ему чуждым. В своих теоретических размышлениях он представлял себе отношения социально-политические надстройкой над творческой жизнью духовной культуры, а не наоборот. Однако научная историческая работа и потребности университетского преподавания повели творчество Ключевского иными путями.

Основным условием, которое определило характер этой работы и направление этого творчества, было чтение общего курса русской истории. Как Соловьев в течение всей жизни, после первых подготовительных опытов, писал «Историю России с древнейших времен»⁹, так Ключевский отдал большую часть сил и времени «Курсу русской истории»¹⁰. Ведь несомненна органическая связь его «Боярской думы в древней Руси», книги, которую нельзя не назвать вторым основным явлением русской историографии после докторской диссертации С. М. Соловьева — «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома»¹¹, с задачей построения общего курса или общей схемы русского исторического процесса. Слишком широко содержание этого труда, чтобы назвать его монографией, да и не подходит он ни по характеру изложения, ни по содержанию под понятие «специального исследования», так как дает в стройной схеме итоги целого ряда таких исследований, оставшихся неопубликованными, но проработанными в тиши ученого кабинета, и объемлет основные явления государственной и общественной истории России за ряд столетий. «Курс» и «Боярская дума» неотделимы по задачам, методу и содержанию. К ним примыкают и такие основные в научном наследии Ключевского этюды, как «Состав представительства на земских соборах древней Руси», «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства»¹².

Помимо конкретных задач исторического изучения, Ключевский имеет дело во всех этих работах, примыкающих к «Курсу», с одной большой социологической проблемой — об отношении «политики» и «экономики». Так и сам он смотрит на дело, посвящая «Вступление» к «Боярской думе» теоретическому рассуждению о взаимоотношении «политических фактов» и «фактов экономических», в связи с «процессом образования общественных классов». Так и во введении к «Курсу» он сознает себя историком-социологом,

полагая задачей «исторической социологии», точка зрения которой ближайшим образом определяет задачи «местной истории», в данном случае русской, — «историческое изучение строения общества, организации людских союзов, развития и отправлений их отдельных органов — словом, изучение свойства действия сил, созидающих и направляющих людское общежитие», притом не в статике, а в историческом движении и в конкретной обстановке «многообразных и изменчивых» условий развития, «какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время».

Если сделать попытку краткого определения важнейшей из научных заслуг В. О. Ключевского, которые дают ему исключительное положение в русской историографии, то можно назвать его создателем истории общественных классов в России. В «Боярской думе» он дал не только и даже не столько историю высшего «правительственного учреждения (для этого потребовалась бы большая разработка иных материалов и иных вопросов, которых Ключевский почти не коснулся, например, боярских приговоров и всего, что с ними связано), сколько истории боярского класса, при этом на широком фоне народно-хозяйственного быта, влияния колонизации на склад древнерусского общества, развития поземельных отношений, экономической жизни и сословного строя.

Не менее глубоко и значительно, а вернее сказать, еще более существенно все, что сделано Ключевским для истории крестьянства. «Курс русской истории, составленный В. О., — пишет М. К. Любавский, — можно назвать самым полным и всесторонним изложением общей истории крестьянства в России; В. О. так крепко вдвинул историю крестьянства в общий курс русской истории, дал ей там такое органическое место, которое навсегда останется за нею и в последующих концепциях русской истории». Недаром Московский университет отметил пятидесятилетие освобождения крестьян избранием своего «крестьянского историка» В. О. Ключевского в почетные члены. Колонизационный труд крестьянина-земледелца и промышленника создает русскую землю; на трудовой страде крестьянства вырастает социально-политический строй Руси, несущий ему крепостную неволю; «крепостное право, крепостной быт, крепостное хозяйство, земледельческое и фабрично-заводское, составили основной фон в изображении В. О. Руси новой, императорско-дворянской», подчеркивает М. К. Любавский, отмечая и «многостороннюю оценку, которую нашло в изложении В. О. влияние крепостного права на экономическую, общественную

и политическую жизнь России во второй половине XVIII и в первой половине XIX века».

Таков был крупный вклад Ключевского в «историческую социологию» России. Но характерно и несколько загадочно, что эти важнейшие достижения исторической работы Ключевского не легли в основу его теоретических и методологических воззрений. Можно сказать, что они почти не отразились на «введении» в «Курс русской истории». Мало того: как выше было отмечено, строки первоначальной редакции приступа к «Боярской думе», возвещавшие выступление нового исторического воззрения, притом не без полемики против формализма и узости концепций «историко-юридической» школы, — исчезли из отдельного издания этого труда, а положение «вступления» в «Боярскую думу» о том, как «политический момент завершает социальную работу народного хозяйства», не нашло себе дальнейшего развития в работе мысли Ключевского.

П. Н. Милюков в одном из своих обзоров русской историографии обмолвился жестким словом: «Основной недостаток Ключевского, — читаем тут, — заключается в отсутствии того коренного нерва ученой работы, который дается цельным философским или общественным мировоззрением и которого не может заменить величайшее мастерство схематизации». Но Ключевский был слишком художник для абстракций и слишком историк для того, чтобы строить догматическую систему, подчиняя той или иной догме свое изучение и воспроизведение исторической жизни. Не только в теоретических суждениях о задачах и приемах своей науки, но и в той схематизации, которой он формально владел с такой блестящей техникой, он остался в большей зависимости от унаследованной им традиции, чем можно было ожидать от такого самобытного и огромного дарования. Лишь постепенно освобождался он от этой зависимости в конкретной работе широкого и углубленного изучения, но так и не проработал до конца основ своего оригинального и своеобразного воззрения на историческую действительность. «Коренной нерв» его ученой работы был более в гениальной интуиции, чем в каких-либо философских или социологических обобщениях и конструкциях.

По-видимому, в этой несогласованности личных исторических воззрений и тех предпосылок, на которые опирались их обобщение и схематизация, одна из особенностей внутренней драмы творчества Ключевского, противоречия между «ученой совестью», побуждавшей сосредоточиться на возможно полной проработке всего материала русской истории, и «обязанностями педагога», которые

заставляли безотлагательно давать изложение, хотя бы влагая новое содержание в готовые схемы, по существу ему не отвечавшие. Однако подлинные корни этой драмы заложены значительно глубже в свойствах многогранной натуры Ключевского.

Исключительный мастер и устной, и письменной речи, Ключевский искусно и сознательно вырабатывал оба эти орудия своей мысли. Они служили, особенно подлинная стихия Ключевского — живая устная речь, блестящим и неотразимым орудием выполнения «обязанностей педагога». В ряду произведений Ключевского выдающееся место занимают письменные отражения устной речи: таков его «Курс русской истории», таковы его «речи» о Соловьеве и Пушкине, о «Содействии Церкви успехам русского гражданского права и порядка»¹³, о преп. Сергии — «благодатном воспитателе русского народа», об Александре III, его публичные лекции («Добрые люди древней Руси», «Два воспитания»), его доклады в собраниях ученых обществ. «Гений разговора», как назвал его Айхенвальд¹⁴, «прирожденный и преднамеренный собеседник», Ключевский, однако, не импровизировал и своих речей и лекций, а тщательно их вырабатывал, как «ювелир слова», дороживший детальной и чеканной отделкой. И не беседа, а живая речь, покоряющая аудиторию блеском словесных форм и полной настроенности, богатой оттенками гибкой мысли, кажется наиболее близкой Ключевскому формой творчества. Знакомы были этому мастеру речи неустранимые трудности в поисках «гармонии мысли и слова», опасности словесного щегольства, срывы недостаточного, слабого выражения. «Иногда, — размышлял он, — бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую, жесткую подошву».

В. О. Ключевский был прирожденный учитель. Чему он учил? Прежде всего, русской истории и любовному, вдумчивому отношению к ней. Его основная историко-педагогическая задача — сделать родное прошлое близким и понятным. Ключевский обладал редкостным даром преодолевать и в себе, и в других «то расстояние, — как говорит Кизеветтер в статье о Ключевском-преподавателе, — которое отделяет наши понятия от мировоззрения и склада мысли, лежавшего в основе древних жизненных порядков и отношений»¹⁵, сознательно и метко его определяя. Превосходно читал он и комментировал старинные памятники, неподражаемо

передавая оттенки народной речи, своеобразных выражений, движений мысли и чувства. Он учил воспринимать минувшую жизнь, воскрешать ее воображением ярко и прочувствованно, затем ее анализировать, изучать и оценивать. Его отношение к этой жизни, при всей научности изучения, было всегда определено личным. Слишком отзывчивый на ее перипетии, он не мог, по выражению одного из его учеников, «не вмешиваться в исторический процесс», то с юмором, то с горьким сарказмом, то с сочувственным откликом и чутким пониманием жизненной драмы. Минувшее воскресало и жило полной жизнью в его изображении. И там, где обстановка и самые задачи преподавания давали ему свободу от сложных построений социально-политической эволюции, а выдвигали на первый план изучение бытовой истории, Ключевский чувствовал себя особенно привольно. Так он особенно любил занятия в Школе живописи, ваяния и зодчества¹⁶ и продолжал их даже по прекращении своего университетского преподавания. Читал он тут несколько сокращенный курс; зато «был здесь художник среди художников», обращая особое внимание на бытовую обстановку прошлого, и сопровождал свое изложение демонстрацией портретов, фотографий, снимков разного рода, а само изложение обогащал народными поговорками и пословицами, останавливался на поверьях, на народном календаре и т. п. Он, несомненно, много давал аудитории молодых художников, воспитывая в них интерес и любовное внимание к родному искусству и к художественному восприятию исторической действительности.

Но такой живой подход к этой действительности далеко не исчерпывался у Ключевского художественной стороной ее восприятия. Глубже и значительнее была его вдумчивость, своеобразный лиризм его отношения к изучаемой жизни. В этом вдумчивом лиризме одно из обаяний Ключевского и один из источников его огромного влияния, загадочного и трудноопределимого, как всякое влияние художественного воздействия. «Курс» Ключевского, как и другие его произведения, принадлежит не только русской историографии, но также истории русской литературы. «Говоря о Ключевском, — читаем в отчете Н. А. Котляревского о деятельности Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук за 1911 год, — историк русской литературы приобщит к памятникам русской словесности ту картину исторического развития нашей родины с древнейших времен, которую Ключевский так скромно назвал своими лекциями». А в этом труде Н. А. Котляревский видит не только яркий и живой синтез исчезнувшего быта, угасших мировоззрений

и настроений, но и «характерную исповедь своего времени»: «как суд над прошлым и как показание чуткого современника». Основное настроение Ключевского Н. А. Котляревский склонен объяснять сочетанием «поэтического тяготения к старине» с «пониманием необходимости совершившихся перемен». И Ключевский именно «дорог этим затаенным раздумьем над живою связью минувшего с настоящим», тою любовью, которая «с пытливой тревогой смотрела на труды наступившего дня и дня ближайшего». В самом языке Ключевского, столь же своеобразном, как «своеобразен и необычен был склад души историка», в его стиле «неровном и тревожном», Котляревский видит черты беспокойного состояния духа, осадок «недоверчивой тревоги и грусти»: нет в этом стиле той ровности, какая была бы в настроении человека, «бодро смотрящего в глаза ближайшим грядущим событиям».

Ключевский сложился во внутреннем укладе своем в эпоху шестидесятых годов. Но едва ли кто назовет его «шестидесятником». Он остался сам по себе, вне общественных течений, вне интеллигентских и университетских кружков. Стоит он в стороне от них, но в большой к ним близости, острый и чуткий наблюдатель, крепко переживая сам в себе наблюдаемое и кругом происходящее. «Внутренне одиноким» назвал его Айхенвальд, «едва ли кому доступным в самой середине своего сердца», таким, чья словесная общительность скорее заслоняла от других этого вдумчивого и отзывчивого наблюдателя, который «на дне своей мысли всегда остается один и наедине с собою». Я бы назвал его историком-зерцателем, который и окружающее изучает, и наблюдает так же отзывчиво и чутко, но так же со стороны, как и минувшее. В таком отношении к жизни нет равнодушия. Напротив, скажем словами С. Ф. Платонова, «Ключевский был очень стихийен и непосредствен в своих исторических симпатиях и вкусах; он не только много думал, но, видимо, много выстрадал. Оттого в его смехе и остротах столько сарказма, в его характеристике столько яда и в субъективных отзывах об эпохе его юности — скорбные ноты. Рассвет русской общественности, озарявший юность Ключевского, не сделал светлым его взгляда ни на русское прошлое, ни на русскую современность. Почему это так — объяснит нам когда-нибудь история личной жизни Ключевского».

Конечно, история личной жизни Ключевского, если когда-либо будет написан такой ценный памятник истории русской культуры, объяснит нам многое: его одиночество, его своеобразие, его адогматизм и внутреннюю драму его творчества. Теперь пока лишь не-

многие биографические черты дают некоторый намек на будущее выяснение.

В московскую университетскую среду Ключевский пришел со стороны, из иного мира, иного быта, иной культуры. Его дала нам глухая деревня, осиротелая семья сельского священника, близкая крестьянскому быту, близко знакомая с тяжелой и часто обидной нуждой. Вскормила его провинциальная семинарская школа с ее своеобразной серьезностью схоластического учения, крепкими традициями и тяжелой атмосферой произвола, то ломавшая, а то и закалявшая характеры, но редко оставлявшая их без надлома и ущемления. Питомцем этой сельской и семинарской среды пришел Ключевский в круг университетской профессуры и московского интеллигентного общества, выросший на иных корнях. Одно это давало ему печать обособленности, даже по внешности, по навыкам, по бытовым настроениям. «Начиная с лица, — так описывает Ключевского наблюдательный бытовик-литератор, — то подчеркнута серьезного, то добродушно-лукавого, и кончая серебряными очками и широкополым сюртуком, вплоть до длинного черного, на шею надетого часового шнурка, — все в В. О. свидетельствовало, что он вырос “под колокольной” и с детства впитал в себя атмосферу церковного пения, звона и кадильного запаха»; и добавляет, что рядом с такими «европейцами», как Чичерин или Муромцев, Ключевский должен был казаться «слишком русским». И тот же наблюдатель идет дальше в своих заключениях. «Органически связанный с народной толщей, — говорит он, — Ключевский естественно и к России, как живому национальному организму, отнесся иначе, чем большинство современной ему интеллигенции». Ходкие в ее среде «философские» и «общественные» мировоззрения (вспомним вышеприведенное замечание П. Н. Милюкова) остались ему чужды. Он не мог стать ни «западником», ни «славянофилом», ни «народником» не только потому, что был «слишком художник для абстракций», но, прежде всего, потому, что слишком непосредственно знал жизнь народной массы для отвлеченно-доктринерского подхода к ней, да и слишком мало было в этих «мировоззрениях» того исторического реализма, которым силен был Ключевский. Окружившая его кафедру молодежь, которую он знал и любил, увлекалась течениями мысли, ему чуждыми, а он, ценя искренность ее увлечений, весьма скептически относился к ее умствованиям. Его понимание жизни было слишком реальным и многогранным, чтобы принять ее толкование в упрощенных идеологических схемах. Он видел в пристально изучаемой действительности ее

неразрешимые противоречия и воспроизводил ее ход меткой и нервной, напряженной и изысканной речью, а «сквозь вычурность затейливой фразы и соль забавной насмешки, — приведу опять слова С. Ф. Платонова, — смотрел на читателя вдумчивый и часто скорбный глаз исследователя, не желавшего скрыть за шуткой темные стороны русского прошлого». И с русским настоящим Ключевский расставался скорбно, почти безнадежно, по крайней мере, для своего поколения. «Надо признаться, — так закончил он один из курсов своих лекций, — что это поколение, к которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их, но оно сойдет с уверенностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их лучше нас». Для этого лучшего решения жизненных задач Ключевский призывал к коренному пересмотру унаследованных идей и к внимательному изучению действительности. Наследие наличной общественной мысли и общественного знания действительности оставило его глубоко неудовлетворенным. Борьба целой жизни за разумение исторически сложившейся действительности закончилась у Ключевского глубоким смирением, той «резиньацией» грусти, какую он угадал в Лермонтове и признал коренным национально-русским настроением: это «настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой». Верой в лучшее будущее, но без уверенности, что оно придет, и без знания, как может оно прийти.

Своеобразная и сложная, богатая скрытыми внутренними переживаниями и выражавшая себя в увлекательно-ярких проявлениях фигура В. О. Ключевского будет долго еще предметом изучения и попыток разгадать ее тайны. А пока естественно закончить речь о нем, как он сам закончил речь свою о Пушкине: о нем всегда «хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует».

